



Захар Прилепин

Семь жизней (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17309142

Семь жизней: рассказы / Захар Прилепин: АСТ: Редакция Елены Шубиной; Москва; 2016

ISBN 978-5-17-096750-6

Аннотация

Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санька», «Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов «Восьмёрка», «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие бурлаки» и «Не чужая смута».

«„Семь жизней“ – как тот сад расходящихся тропок, когда человек встаёт на одну тропку, а мог бы сделать шаг влево или шаг вправо и прийти... куда-то в совсем другую жизнь? Или другую смерть? Или туда же?

Эта книжка – попытка сходить во все стороны, вернуться и пересказать, чем всё закончится». (Захар Прилепин)

Содержание

Шер аминь	5
Попутчики	13
Зима	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Захар Прилепин

Семь жизней (сборник)

© Захар Прилепин

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Шер аминь

Отец засобирался.

Он накручивал свой пушистый, колючий, разноцветный – что-то красное, жёлтое, коричневое, оранжевое, – шарф; тогда ещё не умели носить шарф по-французски, изящным узлом; отец носил шарф как русский интеллигент – чтоб было тепло, пышно, чтоб шарф заканчивался под верхней губой, и когда в него надышишь – там мокрая изморозь.

На отце была шуба; когда она висела отдельно – могла залаять; на отце – смирялась.

Я спросил: «Куда ты?» Отец с деланной беззаботностью сказал, что до магазина, за папиросами.

Бабука – моя бабушка, так её звали все – говорит, подтверждая: «В магазин сходит и вернётся».

Хлопнула дверь, потом другая дверь. Ушёл.

Мы сели с бабукой и сидим, она на диване, я на полу. Она в очках, зашивает дедовскую рубашу, шурится на иголку, как бы раздумывая: стоит ли раздражаться на такую маленькую вещь или не стоит; я смотрю на бабуку, пытаюсь догадаться о чём-то огромном; мне, наверное, лет пять или меньше.

Ни одной мысли в моей голове не было, они и сейчас редко приходят, поэтому я просто вскочил и побежал. Даже не обулся.

Хотел написать, что осознал происходящее, – но всё это враньё, какое тут осознание, просто появилась картинка: отец стоит на дороге, голосует и курит; и вот уже едет в деревню, где наш семейный дом и где его ждёт жена – моя мать. Он разговаривает с водителем грузовика, они смеются, отец угощает водителя папиросой «Беломор». Открывает окно – в щель рвётся небритый февральский сквозняк.

На улице был холод, много снега – в деревне снега всегда больше, чем в городе. Лес начинался сразу от наших ворот – а трасса лежала за лесом, в полукилометре. Бабука догнала меня, убежавшего, в лесу. Принесла в охапке домой. Я не плакал и не отбивался. Поймали и поймали. Не судьба.

Бабука посадила меня на то же место, где я и сидел, взяла рубашу, на рубаше, скучая без дела, висела нитка с иголкой. Как будто ничего не случилось.

Представления не имею, зачем я побежал. Понятно, что за отцом.

Но я никогда особенно не скучал по родителям – если оставляли у стариков в гостях, жил как ни в чём не бывало.

Куда сорвался?

Наверное, отец должен был вернуться из своего февраля, взять меня на руки.

Потому что с тех пор всё не так.

В следующий слякотный февраль, в последние его дни, шёл по улице, тихий, светлый мальчик (я себя маленького люблю, как будто я тридцатилетней давности – это мой сын), – у нас в деревне жили хулиганы, фамилия Чебряковы, я их не различал, оба были длинные, с мосластыми телами, шеи кадыкастые, лица вытянутые, тупые, подлые, – один из них толкнул меня в плечи, сзади, и я упал всем телом в ледяную грязь.

Грязь в нашей деревне была ужасная, сейчас такую не найдёшь – её варили как кашу, весной она лежала мелко покрошенная, перемешанная со льдом, летом парила, осенью причавкивала. Не высыхала и не смерзалась никогда. Как будто внутри этой грязи тихо бурчал нефтяной родник, точнее сказать – гнойник.

Ровно к моему падению грязную лужу как следует раскатал деревенский трактор, чтоб стало сразу и пожиже, и погуще. Следом пробежала лошадь, оставила в этом месиве горячее воробьям и снегирам.

Туда и упал я.

Пришёл домой весь уделанный, как клоун.

Изо рта – грязь; постмодернист, словом.

Мать ничего не сказала – я надеялся, что она пойдёт и убьёт Чебряковых, а она просто умыла меня. Всё сняла, дала чистое.

Следующий раз – ещё через год, опять февраль. Играли за школой в футбол – у нас любили играть в футбол зимой, лето короткое, пока его дождёшься, а мяч лежит вот, ждёт пинка. Я был в трёх драных свитерах и без шапки: это придавало мне, как я сам думал, лихости. Команды были смешанные по возрасту. К противникам присоединился – не помню как зовут – только что вернулся из армии – белёсый чёрт с белёсыми ресницами, смешливый. Я торчал у ворот. Белёсый играл весело, ловко, вскоре засадил мячом – попало мне в лицо, я сделал – безо всякого преувеличения – два оборота в воздухе, упал; глаз словно бы ввернулся внутрь головы – я потом бережно извлекал наружу, обратно, в белый свет напуганными пальцами веко, ресницы: глаз казался каким-то мясным, слишком объёмным, похожим по ощущению в пальцах на пиявку.

Если б я стоял возле штанги – ударился бы головой об неё и умер.

С коллективными играми у меня не задалось.

Из деревни меня извлекли, как птенца из гнезда, поселили у фабричной трубы: семья решила, что пережить смерть советской власти лучше стоя на городском асфальте.

В новую школу впервые пришёл зимой, в феврале.

У школы стоял бугай из параллельного класса – выше меня на голову, девятилетнее животное. Снял с меня шапку и бросил далеко. Я полез за его шапкой, отомстить, но он легко оттолкнул меня. Силы были не равны.

Я ходил за ним на переменке, думал: надо изловчиться и ударить, но не хватило духа.

В новой школе была учительница, классный руководитель, сталинистка, рябая, костлявая, едкая на язык.

Началась *perestroika*, она решила, что необходима демократизация, провела опрос, кто как к ней относится в классе, – анонимно.

Мой сосед по парте Чибисов написал, что учительница – сволочь.

Я написал, что претензий не имею.

Следующий, через день, опрос был уже не анонимный, а за подписями.

Собирая наши ответы, рябая ехидно глянула на меня поверх своих огромных очков и, не сдержавшись, сообщила: «Посмотрим, что ты здесь написал, иудушка».

Четыре года после этого она разговаривала со мной совершенно по-скотски, я ничего не понимал, терпел.

Однажды мыл класс после уроков – у рябой уже который год не прекращался мстительный зуд, она опять подняла эту тему: какой я ничтожный, лживый, как же я могу жить такой, почему меня носит земля, не должна бы.

Я уже подрос и нашёл в себе смелость вяло поинтересоваться, в чём дело.

А помнишь, говорит, опрос. В анонимном ты написал, что я сволочь, а за подписью – что нет, что не сволочь; вывод: ты врун, в разведку с тобой нельзя.

Я говорю: покажите опросный лист. У неё был наготове (хранила все эти годы в особой тетрадке, носила с собой, чтоб подогревать мстительность): смотри – взмахнула листками, как факир: сейчас будет номер.

Увидев листы, я взвыл – благо, Чибисов уже года три как учился в другой школе, – это не я! это Чибисов написал!

Она, смешавшись, тут же сказала: «...ты наговоришь мне сейчас!» – и опросники убрала. Извиниться, естественно, не посчитала нужным. Некоторое время смотрела в окно, на подтаивающий снег, – думала, видимо, не было ли ошибки в её многолетнем издеватель-

стве над ребёнком. Сделала твёрдый вывод, что нет. Кто старое помянет, решила по-взрослому, мудро, тому глаз вон.

Это ещё что.

Девушки у меня были, но чаще не было.

Я всё время помню, что девушки нет, есть только головокружение и подростковая тошнота.

Возвращались пьяные откуда-то с вечеринки в честь старого Нового года, вызвались проводить двух дам – я и двое моих собутыльников, их лица уплыли, не вернуть уже ни одной черты.

Я оказался самый разговорчивый, изо всех сил старался веселить компанию: компания время от времени хмыкала.

Одна, вроде симпатичная, дала телефон, я попросил.

Позвонил уже в феврале, что-то ныл о желанной встрече, она поддерживала разговор так, словно у неё стреляла простуда в ухо – через муку, сквозь сжатые зубы. Потом там кто-то зашумел поблизости, послышался мужской голос, она вдруг говорит шёпотом: «Оставь меня в покое, отвянь наконец, чего тебе надо вообще?»

Как будто я сидел на промокшей колоде в воде, в грозовом море, под снегом, падающим ледяной грязью в чёрные волны, хотел выбраться на берег, смотрел на эту девушку снизу вверх, а она оттолкнула ногой мою колоду: плыви, куда хочешь, на берег не лезь, тут и без тебя, знаешь... Плыви, кому говорю!

Прошло двадцать лет, она, наверное, сейчас приготовила борщ мужу – живёт как ни в чём не бывало, всё забыла, – так пусть он немедленно ударит рукой о край тарелки – чтоб тарелка сделала в воздухе круг, и капуста на потолок, на люстру, всё вокруг в кипятке, в детском ужасе, – а он, этот муж, как заорёт: «Сука! Какого чёрта я связался с тобой!»

Кто-то должен за меня отомстить, наконец.

Она бы поняла, что тогда, невинный и озябший, испытал я.

...но нет, муж доест, ничего не скажет, будет прятать в себе самое важное.

В армии, уже став черпаком, я один раз напился – не пропалился на построении, ловко миновал все возможные угрозы, добрался до своей койки, улёгся.

У такого же черпака, как я, с моего же отделения, был фотоаппарат, и он решил сделать на память мою фотографию: сослуживец во сне.

Затея быстро превратилась в общественное мероприятие: нашли свечу, вставили мне, слава богу, в руки – а руки скрестили. Свечку зажгли, получилось красиво.

Простынку натянули как надо, нарисовали на лбу крест, устав положили на грудь, потом ещё стопку уставов – предполагалось, что теперь у меня будет много времени на чтение; на ноги натянули сапоги 47-го размера: покойник был благонравен, добросердечен, ногаст.

Сделали пышный венок из венка в голове.

Решили, что одной свечки мало, вставили сразу три в руки: а чем покойник хуже торта – разве поминки не праздник? Тоже наливают, зимние салатики, плясать только нельзя, зато петь, вроде, можно.

Духов не отгоняли, душары тоже веселились.

Решили, что если рядом положить швабру – будет уместно: шваброй я сумею запугать чертей, если соберутся к покойнику в гости.

Тарелку, ложку – тоже на всякий случай подложили ко мне: допустим, черви меня жрут, а я червей, – взаимный обмен. Так можно долго развлекаться – кто кого доест первым.

Под крестом на лбу написали фломастером смешное слово из пяти букв: аминь.

Моё светлое мужское солдатское имя, отвоёванное с такими боями, с такими понтами, с такой смекалкой, со всем тем, что я накопил за девятнадцать лет, – всё пошло к чёрту.

Фотографии распечатали, суки, денег не пожалели, их увидели все.

Каждый мой шаг, когда я шёл до столовой, в наряд, куда угодно, сопровождали незримые улыбки: паси, этот идёт, со свечкой и шваброй, торт из покойницкой, черпак, который аминь.

(В тот февраль я чуть не замёрз в наряде – жить было лень.)

«Шер аминь» прозвал меня мой самый близкий, да что там – единственный товарищ, ботаник, французский учил в школе, я его столько раз выручал, его убили бы без меня – но в этот раз я сам зазвездил ему в зубы, было много крови, зуб потом лежал на столе в столовке, в луже щей, как забытый. Я подумал: может, забрать, как-то вернуть его, приделать на место: всё можно как-то изменить.

(...потом мне сказали, что свечу мне деда хотели в рот засунуть, для красоты, а ботаник не дал.)

Ничего было уже не исправить.

Свою подругу я приютил пожить в квартирке, которая осталась у моей семьи после многочисленных разменов.

Маме она нравилась – мама ей доверяла.

Мать прожила целую жизнь с моим отцом, ей и в голову не приходило, что женщина, у которой было больше мужчин, чем пальцев на одной руке, может называться как-то иначе, чем «проститутка».

Тем более, кто может изменить её сыну – этому идеальному воплощению ума, такта, красоты, мужества. Ну, то есть, этому иуде, этому шер аминю, с неизменной грязью во рту, который отыгрывается на слабых, врёт, юлит, унижается, перекладывает ответственность, не желает ничего знать, рассматривает себя в зеркале, любит парадкой – балабол, понтарь, выкобенщик.

Я дембельнулся, подружка не встречала, отдыхала у своей бабушки – разве бабушку оставишь, я понимаю. Приехала через неделю, вся такая улыбчивая, тихоголосая, ведёт себя так, как будто её завернули в целлофан. В щёку поцелуешь – вроде, кожа, вроде, духи, – а всё равно ощущение – целлофан.

Вечером весь целлофан снял, слоями, кое-где налипло, пришлось повозиться. Свет попросила не включать – ищи в темноте, вглядывайся, развивай в себе крота, купи прибор ночного видения, а фантазия тебе на что.

Фантазия у меня работала полтора года, я весь этот срок гудел как трансформатор, я продумал до деталей, что именно случится, когда дембельнусь, – но жизнь предложила свой вариант. Нет, не так себе представляли мы ход событий в первую ночь по возвращении с гражданской... верней, на гражданку.

Гражданка подвела. Она разучилась делать самые элементарные вещи. Тут помоги ей, здесь не так жёстко, там не щиплись, а что ты как целуешься?

Как?

Да ладно, не обращай внимания. Просто я устала.

Устала? За полтора года устала? Или за полтора года не отдохнула? Ты к своей бабке поехала – даже раковину не отмыла на кухне. В ванной – ржавь, как будто ты там железного человека, или кого там, железного коня надраивала.

А? Комбайн, что ли, мыла?

Прекрати орать. Ты что, меня на правах посудомойки оставил жить? Знала бы я.

(...сделала движение одной ногой, чтобы уйти; остановил встречным движением всего тела, типа: подожди, не всё ещё сказано; хотя смысл моего жеста был, конечно, чуть шире: куда собралась, ау, а чё я тут делать буду с собой?)

До утра разговаривали. Она в состоянии тихой замученности, я – крайнего и неразрешаемого возбуждения. Да ты знаешь, через что я прошёл? Ты знаешь, как нас били звери?

Как я чуть не замёрз в наряде? Как нас чуть не отправили в Чучмекистан – я первый записался добровольцем, мог бы вернуться в цинке, тогда ты печалилась бы: ах, что же я так мало его радовала? А какой у нас был ротный? Он был бесподобный кретин! А комбат? Как три, ёп, кретина! Я даже генерала видел один раз! А знаешь, наконец, что мне один раз чуть свечу в рот не вставили, показать как?

К утру всё горько, кисло, скудно, одноразово, без тепла, без вздоха разрешилось, лучше б не разрешалось.

На другой день звонок: трубку беру – алло? – на том конце провода чуть смешались, потом, смущённо, с деланной беззаботностью: Тину можно?

(Она спит; хотя по затылку увидел: проснулась и слушает спинным мозгом разговор.)

В трубке сразу опознанный мужской голос: мой одноклассник, Тина с ним путалась до меня, потом ушла ко мне, но о нём долго помнила – он был выше меня, красивей, богаче, – к ней, правда, так и не притронулся, пока они там дружили.

Зато пока я маршировал, гонял устав, как символ веры, и отдавал честь, – притронулся. Видимо, она даже не рассказала ему, что живёт в моей квартире: а зачем? Чтоб мне сжечь эту квартиру по возвращении?

Из этой квартиры, выгнав подругу, я поехал в новый мир, где звучат стихи и слагается новая драма, где юноши в странной одежде (голь на выдумки хитра) прикуривают огромными, в виде, например, черепахи, зажигалками свои дешёвые сигареты («...это артистично, так, бля, положено у писателей, специально купил на вокзале, брат, чтоб показать, что мы не лыком шиты...»), где девицы одеты гораздо лучше, чем юноши (каждая переносит в джинсах румяное нагое тёплое солнце, которое никогда не взойдёт перед простыми смертными), и не обращают на юношей внимания, только иронично косятся на железных черепахах, с пятой попытки изрыгающих пахучий огонь, зато внимательно, прямым взглядом смотрят на мэтров, ведь мэтры cedят весомые слова, мэтры в мятых дорогах (не настолько дорогих, как хотелось бы) пиджаках видели... Бродского? – да что там Бродского – они Бродского в упор не видели, – а что-нибудь ещё более пронзительное, взирающее из клокочущих глубин вечности живыми глазами, проросшими сквозь мрамор... – ну, допустим, видели себя, взглянув перед выходом на своё отражение в зеркале гостиничного номера.

Мы – я и несколько моих плюс-минус ровесников – быстро срослись в банду; самые взрослые среди молодых, самые молодые среди взрослых – родившиеся, выросшие и отслужившие кто где смог в прошлом веке, пришедшие в новое тысячелетие не только с зажигалкой в виде черепахи, но и с багажом, который можно было выгодно представить на ярмарке тщеславия, удачи и надежды.

Я стал называться: сочинитель, литератор.

У меня был брат не брат, но хороший товарищ, большой телом, с маленькими глазами, который жил нараспашку и требовал, чтоб другие, рядом, тоже распахивались: чтоб всё было – от души, от всего сердца, голое, без стыда, наружу, на выпуск... но когда другие, помявшись, распахивались, мой товарищ немедленно начинал страдать, что у других выросло что-то важное несколько или даже заметно больше, чем у него.

Со временем он вовсе перестал смотреть вперёд и вверх, а только косился и косился на окружавших его, пока совсем не окосел. Сбежал на свою приморскую рыбалку, где можно было распахиваться в одиночку и не бояться, что кто-то усомнится в его стати и страсти, в его первозданной величине.

Извлекал свою величину, сравнивал её с пойманной рыбкой, то с пескарником, то с карасиком, – хохотал от радости, плакал от влюблённости в этот мир, в этот огромный и добрый мир.

Но до того, как сбежать, мой товарищ поймал меня за воротник, прямо на вручении мне премии (корзина с цветами, внизу уложенная пачками красиво нарезанной зелёной бумаги,

расписанной цифрами), – гаркнул так, чтоб все оглянулись – и девицы, и мэтры, и юноши с черепаховыми зажигалками, – и раскрыл всем глаза:

– Вы думаете это – кто? Он не тот, за кого себя выдаёт! Он лжец, подлец, хитрый скворец, человек с грязным ртом, у него на лбу слово из пяти букв, имя у него ворованное, душа в репейниках! – и, оглянувшись на меня, ткнул мне в грудь пальцем: – Запахнись, предатель, ты обманул нас!

Все смотрели на меня в полной тишине. Черепаха в чьих-то руках едко шипела, не в силах больше породить огонь.

Я (корзину не бросил) выбежал на улицу; не плакал, не смеялся – просто дышал там с пустой и выгоревшей от стыда головой: я так и не научился думать. В висках стучало: как же теперь жить, разве можно после такого.

На улице опять подтаивал последний месяц зимы, обещающий только обман и болезненную, простудную маету.

Выкинул цветы из корзины на снег, зелёную бумагу рассовал по карманам, а то ещё отнимут.

Я так и не догнал отца.

Всё с самого начала шло наперекосяк.

Всё было бы иначе, если б он не ушёл.

Всё было бы иначе, если б он не ушёл тогда.

Всё было бы иначе, если б он не ушёл тогда от меня.

Поверили? Поверили, да?

Думаете: вот, раскрылся, наконец, а мы ведь догадывались, как у него тоскливо и скользко внутри.

Ничего вы не догадывались, помалкивайте.

Теперь расскажу иначе.

В моей деревне, за околицей, в часе ходьбы лежат холмы – высокие для средней полосы, и если прыгнуть вниз с обрыва – весь поломаешься.

В очередной холод, девятилетний пацан, я ушёл туда – с чего мне захотелось зимой забраться на холм, никто бы не объяснил. Снега было где по колено, где по грудь, надо было сразу возвращаться, с первых шагов к холмам, но я пополз – кричал, пел по пути, один раз расплакался: вперёд было далеко, назад уже поздно.

Туда и летом не всякий решался лезть.

На вершину взобрался, когда солнце было на исходе: полные карманы снега, полные валенки снега, полные варежки снега, полная запазуха, полные уши, полные глаза... подумал и набил полный рот снегом: сожру тебя, февраль.

Снял шапку, по волосам тёк горячий пот, было так хорошо, так сладостно, что я потерял сознание.

На минуту, на час: у кого спросить, не знаю.

Очнулся – и поскорее покатился вниз, унося ноги, голову, душу.

Стало темно-темно, деревня в темноте оказалась ужасно далёкой, и еле живые плавали её огоньки в февральском чернильном бульоне.

Но внутри меня уже поселились серебро и радость.

Вернулся весь ледяной, и только в затылке было горячо, как будто туда припечатали зимним солнцем, как нагретым медяком: так меня и разбудили.

С какого-то возраста, допустим, с пятнадцати лет, в любой компании я тихо решал для себя: «Мужчина здесь я»; и если нужно было принять решение – принимал его я. Чаще всего по той простой причине, что больше никто ни на что не решался.

Я не предпринимал для жизни никаких усилий, отныне она сама стелилась под ноги.

Мир разделился на две половины – одни дружат со мной, другие слабее меня. Есть ещё какие-то третьи, но нам нет дела друг до друга.

От меня ушли только те, кого я не любил, а кого я люблю – остались со мной.

Того, из школы, который снял и выбросил мою заячью шапку, я встретил на улице пятнадцать лет спустя, он стал ещё выше, на три головы больше меня – пришлось подпрыгнуть. Он стоял ошарашенный, глаз его начал затекать мгновенно, как будто на него пролили гуашь.

– Ты чё, бля? – спросил он.

Мы больше на такие вопросы не отвечаем.

Подруга, та самая, что в целлофане, спустя семнадцать лет написала письмо: я не знала, кто ты такой.

Надо было знать, а зачем ты тогда женщина; только мужчины имеют право не знать.

Девятнадцать лет спустя заехал в свою деревню – я возвращался туда каждый год, словно что-то там потерял – калошу в снегу? серебряную монетку? первый нательный крестик? – приехал, а деревню опять накрыло снегом, иду и думаю: если снести снег – там следы моих босых детских ног. Если пойти по этим следам – приду ровно к себе, войду в свою жизнь, всю её проживу, опять подумаю на том же самом месте: если снести снег – там следы...

Смотрю – а лужа так и стоит на прежнем месте, русская почва неистощима, хотя ни лошадей, ни трактора в деревне нет, – но всё равно в луже что-то чернеет, булькает, всхлипывает, чавкает, бурчит.

Подошёл – Чебряковы лежат, оба брата, один увяз, второй его тянет, оба похожи на старых собак, голосов не слышно, стынет слюна на сизых лицах. Лица по-прежнему одинаковые. Глаза у них кто-то высосал, что-то слезится на самом дне.

Начал вытаскивать, рванул за руку кого-то из них – она оторвалась: чёрт, что делать, я не хотел – понятно, что пришла пора расплаты, но чтоб до такой степени... Потом понял: вырвал с корнем рукав телогрейки.

На снегу виднелась чья-то пьяная голая рука, пальцы елозили в разжиженном снегу.

Больше никому не дали сделать зла.

Я мог бы ухватить такие солнца, румяные и горячие, в самые руки, – но хватало знания о возможности, одним этим знанием был перекормлен, избалован, пресыщен.

Я доехал-таки до грозовой границы и стрелял в людей, но кто-то собирал в ладонь все выпущенные мной пули и выбрасывал, как шелуху. Я точно никого не убил, я знаю это наверняка – но если попрошу, дадут и убить. Дадут всё что угодно.

Отец ушёл, я не догнал его.

А если б он вернулся – тогда дали бы всё, что дали с лихвой теперь?

Я бы, конечно, сбавил всё это нынешнее добро, чтоб догнать отца, чтоб только его догнать – но со мной никто не торгуется, никто ничего не предлагает: тут обмена нет, тут только раскладывают перед глазами всякую чудесную всячину – и я беру.

Выбора нет. Можно, конечно, не брать – но там на всех хватает, я видел. Там никому не желают дурного, там сидит щедрый хозяин.

...и тогда, помните, когда я рассовал по карманам эту дурную зелёную бумагу – я посмотрел вверх, и меня лизнули в лицо – всем этим чернильным февральским жаром, как собачьим языком, словно говоря: ну, ты что? кто тебя может обидеть, дуралей?

Вернулся в огромный зал, все мне улыбаются, здравствуй, как там тебя, брат-наш-пушкин, брат-наш-хлестаков, здравствуй, мы хотели бы съесть тебя, но вместо этого будем тебя прижимать к нашему огромному сердцу.

Нашёл своего, в общем, товарища, который любил распахиваться, взял его за пуговицу, увёл за угол, сказал в лицо, с глаза на глаз – он знает, он помнит, он не сумеет забыть, простить тоже не сумеет, – сказал: я сильнее тебя, как человек, как мужчина, как выдум-

щик, как беспредельщик, как всё что угодно. Понял меня? Он кивнул: понял. Сгинь! – велел. Он сгинул.

Да, любая взрослая победа кажется смешной и мелкой на фоне детского поражения, но что поделаешь.

Зато теперь я сам могу написать любое слово у себя на лбу, и моё право на это переедет поперёк любую ухмылку – береги зубы, глупый человек, о чём ты смеёшься, глупый человек, ты смеёшься о себе. Аминь.

Разноцветный шарф уже полон моим дыханием, снег тает на лету, враль-февраль, ты проиграл, или, может быть, выиграл, ты научил меня всему, но я не умею сделать ни одного вывода из произошедшего.

Стою теперь на пороге, мои чада вопросительно озирают мою зимнюю одежду, глаза их горячие, глаза их смотрят.

Спрашивают, куда, надолго ли.

Решаю, что делать: уйти, не оглянуться? Или вернуться – взять на руки? Как угадать, что им поможет?

Попутчики

Ближе к вечеру Верховойский придумал идти в баню. Захотелось настолько, что не было сил удержаться. Как будто кто-то позвал и терпеливо дожидался там.

В компании Верховойского были таджикская певица и её, вроде уже бывший, любовник – бритый наголо сын католического пастора, сноб и богохульник; армянский массажист и его подруга – то ли драматург, то ли стриптизёрша, бородатый писатель-почвенник... и, собственно, он, Верховойский. У него и у почвенника не было при себе женской пары, поэтому Верховойский иногда в шутку хватал почвенника за бороду, а тот бил его с размаху мощной ладонью по голове. Все хохотали.

– Надо в баню! – призвал Верховойский. – Там пекло!

– У тебя же поезд, – рассудительно напомнил писатель-почвенник Верховойскому.

– «Застоялся мой поезд... в депо!» – спел сын пастора, задвигая всем своим длинным костистым телом таджикскую певицу в уголок, но та, как ящерица, ускользала. Вставала посреди комнаты, выжидая, чем закончится банный вопрос.

Таджикская певица была в лёгком красном платье. Когда она оказывалась на свету, спиной к окнам, всё в её ногах было видно. Верховойский попытался найти себе вроде бы случайную позицию напротив неё, чтоб рассмотреть получше, как просвечивает, – и сам себе усмехнулся: щас же в баню пойдем, смотри не хочу.

Армянский массажист поглаживал подругу, подруга поглаживала массажиста.

– Поезд ночью – до поезда восемь часов, – прозвучал ответ Верховойского писателю-почвеннику. – Мы успеем пролить цистерну горячей воды на себя за это время.

– Я тоже хочу в баню, – сказала таджикская певица.

Верховойский был почти трезв и очень деятелен, компания выпила три бутылки водки, это ни о чём.

Наступила его любимая степень алкогольного опьянения – воздушная, причём воздух бил откуда-то снизу, густой, горячей, обволакивающей волной. Эта волна наполняла лёгкие, заставляла улыбаться и обожать всё вокруг, быть стремительным, всеми любимым, дерзить женщинам и знать, что лучшие мужчины – твои братья.

Он набрал номер столичной справочной, в справочной узнал про ближайшую финскую парилку, в финской парилке заказал номер на шесть человек, тут же вызвал такси, долил всем водки; сын пастора пил нехотя – так как любил оставаться трезвым, чтоб ровно нести достоинство, но всё-таки тоже выпил. Пока перекуривали, позвонили из такси, выходите, серая «лада», 312.

То ли драматург, то ли стриптизёрша накрасила красивые губы. Таджикская певица, присев на стул в прихожей – тонкая ровная спина, вельможные повадки, – протянула ножку, и сын пастора помог ей надеть высокие красивые сапоги.

– А варежки и шапку на завязочках ты тоже ей одеваешь? – спросил Верховойский сына пастора и тут же добавил: – А давай, друг, ты будешь её одевать, а я раздевать? Мы же друзья, у нас всё поровну, я во всём готов тебе помочь. Нет? Ну, давай хотя бы я второй сапог помогу? Опять нет? Хорошо, а мне ты можешь ботинки надеть? Ты мне ботинки – я тебе шапку? А она пусть сама наряжается, не маленькая...

Таджикская певица внимательно слушала Верховойского, но из его предложений ни одно не было принято ни ею, ни сыном пастора.

Посему они, два мужика, начали наряжать друг друга с писателем-почвенником, путаясь в вещах, застёгиваясь вперемешку всеми четырьмя руками и наматывая шарфы на лицо товарищу наподобие бинтов.

В гоготе вышли в подъезд.

Толкаясь, вышли из подъезда.

На улице, грязная, как из лужи, слонялась туда-сюда весенняя погода, чесала спину о дома, садилась в сугробы, оставляла чумазные следы в снегу, отхаркивалась, каркала, хлопала крыльями и форточками.

– Шесть много, – сказал водитель такси, посчитав компанию; он был горный, загорелый, щетинистый, весенний. Вышел из машины, дышал, щетинился, загорал.

– Много, да, – согласился Верховойский с водителем. – Ты лишний. Оставайся тут, машину заберёшь у сауны, туда прямой троллейбус ходит.

Водитель не соглашался на такой вариант, пугливо посмеиваясь.

– Хорошо, тогда едем все вместе, – предложил Верховойский. – А в сауну зайдёшь с нами, и вот эти две девушки, по очереди, помогут тебя. Нет? Ты не измазался еще? Тогда они помогут себя, а ты на них посмотришь? А? Они ужасно грязные, им надо помыться. Ты ведь любишь грязных женщин?

Водитель стал улыбаться добрее, тем более что подыграла стриптизёрша: в несколько танцевальных шагов подошла к нему почти в упор, повернулась спиной и вдруг сложилась пополам – всего на одну секунду – как будто её ударили по затылку, сломали ровно надвое. Чёлкой едва не коснулась грязного придорожного снега – и вот уже снова распрямилась во весь рост и, так и не обернувшись лицом к водителю, будто ничего и не было, чуть переступала под свою внутреннюю музыку. Юбка её раскачивалась, как цветок-колокольчик, в ушах водителя, кажется, стоял лёгкий звон.

– Ну, договорились? – сказал Верховойский водителю; все уже забирались в машину. – Хотя, если тебе девушки не интересны, – добавил он уже в салоне, – я могу предложить тебе помыть вот этого бородатого парня и расчесать ему бороду.

Водителю про бороду не нравилось, он что-то говорил про полицию, заводя свою, 312, «ладу».

– Какая полиция? – отвечал Верховойский. – Тут триста метров, – хотя был в этом районе впервые. – Я доплачу тебе по сто рублей за каждую девушку. За грудь каждой девушки по сто рублей. Сам пойдёшь в сауну, пересчитаешь их груди, получишь по сто рублей за каждую грудь. Знаешь, сколько у неё грудей? – тут он покрепче усадил стриптизёршу к себе на колени и довольно бесцеремонно взял её рукой за скулы, показывая водителю обладательницу нескольких бюстгалтеров. – Вот у неё знаешь сколько? Ты себе даже такого не представляешь. Я тебе просто скажу, а ты сам считай: она бы могла одновременно вскормить трёх джигитов вместе с их лошадьми.

Другу стриптизёрши пришлось сажать на колени писателя-почвенника, таджикская певица ехала на переднем сиденье одна, её пастор вздыхал, задавленный, где-то на облучке, в общем, всё смешалось.

Верховойский ещё умудрился заставить водителя остановиться возле киоска, купил всё, что увидел, расплатился не глядя; продукты в пакетах свалил таджикской певице на колени, подарил водителю чупа-чупс за вынужденную остановку.

Правда, в сауну водителя не взяли, он и не просился, хотя, быть может, надеялся до последнего.

Верховойский первым разделся и умчался в парилку.

О, жар. О, жара. О, жаровня.

Долго никого не было. Он поддал так щедро, что в голове стал постепенно раздуваться горячий воздушный пузырь. Улёгся на лавку, закрыл глаза, кажется, даже задремал.

Кто-то зашел и вышел. Или не вышел. Никак нельзя было понять, вышел или не вышел.

Верховойский открыл глаза: пусто.

Спустился и пошёл в комнату отдыха, к пакетам со снедью. Компания до сих пор передевалась – Верховойский давно заметил, что люди ужасно медленные.

У таджикской певицы откуда-то оказался с собой купальник, она явилась, когда Верховойский расставлял всякие салаты и бутылки на столе. Всё-таки чуть тоньше, чем надо, подумал он, глядя ей на ноги, но юная, такая юная, у таких изящных, юных, тонких женщин особенно удивителен живот – совершенно нереальный.

– Как же работают твои внутренние органы? – спросил Верховойский, бережно прихватив её за тонкий бок одной рукой (второй прикуривал) – расстояние между пальцами, большим и указательным, было такое, словно бы он держал бутылку. – Как работают твои внутренние органы? Это же удивительно! Внутри тебя не может поместиться ни один серьёзный орган!

– Может поместиться один орган. И даже два могут, – вдруг сказала таджикская певица очень спокойно, – подобным тоном она бы ответила на вопрос заинтересованного и при деньгах человека о диапазоне её голоса.

Сын пастора образовался у неё за спиной, но не подал вида, хотя всё слышал, и все поняли, что он всё слышал, и она говорила настолько внятно, чтоб все осознали, что все здесь присутствующие – а их было трое – всё слышали и отдают себе в этом отчет.

Тут ввалился армянский массажист – приземистый, крепкий, с очень развитыми руками, в красивых трусах, следом его подруга, в белой простыне, писатель-почвенник в трусах попроще, вся грудь и весомый живот поросли курчавым волосом.

Верховойский обрадовался в меру голым друзьям, но всё как-то не мог освоиться с мыслью про органы, впечатление было такое, словно ему прислонили чем-то холодным к голове, ко лбу, надо было срочно отогреть это место.

Он налил себе водки в пластиковый стаканчик, полный – и загасил его в одну глотку – опьянение было в той стадии, когда удивляешься: надо же, как я много пью и совсем не пьянею, пью уже который день, и чувствую себя безупречно, что-то, видимо, изменилось в организме, теперь у меня, наверное, никогда не будет похмелья, его и раньше, вообще-то говоря, не было, а теперь просто настанет новая жизнь – буду хлестать целыми неделями и чувствовать себя всё лучше... вот только орган... надо что-то решить с органами...

Он склонился на таджикскую певицу. Нет, не может быть. Куда, собственно говоря, как? И как можно? Много вопросов.

Таджикская певица никогда так себя прежде не вела, она к тому же была замужем – и вроде бы жила с мужем в мире и таджикском согласии, он тоже более-менее занимался музыкой, имел связи на радио, её песни крутили на разных мелких волнах, она вот-вот должна была стать почти звездой, пока, впрочем, хватало только на концерты в клубах для своих и случайных.

– А чего один-то? – спросил писатель-почвенник, поочерёдно нажимая на три «о» в произнесённой фразе и присматриваясь к столу с единственным мокрым пластиковым стаканчиком.

Верховойский тогда налил всем, и себе ещё один раз, снова полную, и – во как я умею! – опрокинул в себя вторую подряд пластиковую норму, а через минуту уже сидел в парилке.

Зашла, как ни в чём не бывало, таджикская певица. Он с удивлением рассматривал её как изящную ёмкость для своих и посторонних органов.

Низко склоняясь голой головой – высокий, – появился сын пастора.

Таджикская певица подвинулась.

Для пьянеющего Верховойского наступало то время, когда любое женское движение становится преисполненным трепетного, возбуждающего смысла. Вот она подвинулась – на самом деле она же не просто подвинулась, она, чуть перенеся вес тела на ладони, приподняла и снова расположила на горячей лавке – себя, женщину, полную разнообразных, необычайных, влажных, очень близких женских чудес.

Сын пастора вдохнул, выдохнул и, чуть посомневавшись, ушел: ему было слишком горячо.

Таджикская певица сидела очень серьёзная и молчаливая.

Верховойский начал считать до ста – потому что было жарко, а уходить раньше таджикской певицы он не хотел. Она вышла в районе семидесяти. Прыгая через три цифры, доскал до сотни и поспешил следом.

Рюмка, сигарета, рюмка, сигарета, рюмка, рюмка, рюмка, две сигареты подряд, начал танцевать со стриптизёршей – просто для того, чтоб отвлечься от таджикской певицы, красивое лицо которой всё время выплывало из дымных облаков – сама она не курила, единственная в компании.

Писатель-почвенник и армянский массажист начали бороться на руках, кто-то из них победил, все ужасно кричали.

У Верховойского тоже всё кричало в голове, он носил этот шум с собой, часто подливал в этот шум водки, становилось ещё шумнее, он пошёл в парилку, в парилке тоже почему-то неведомо кто орал разными голосами. Он набрал в таз воды, окатил верхнюю лавку, улёгся на живот. Пришла таджикская певица, он перевернулся на спину. Она села у него в ногах, нарочно – он был уверен, что нарочно, – касаясь бедром его ноги. Следом явился сын пастора, ведомый своими нехорошими предчувствиями.

– Что-то вы невесёлые, – сказала таджикская певица, хотя оба были вполне себе весёлые, веселей некуда, но ей надо было сказать про невесёлых, чтоб произнести следующую фразу, и она её произнесла: – Давайте я вас порадую.

Верховойский, улыбаясь, сел, чтоб освободить место сыну пастора, а верней, чтоб хоть на время освободиться от ощущения женского бедра: этим бедром надо было как-то заняться, но как?

Сын пастора примостился на лавку, таджикской певице ничего не ответил, хотя ответить должен был он.

Верховойский поперебирал в голове всякие возможные варианты своего ответа: «а давай», «а что скажет сын пастора?», «а что за радости у нас предусмотрены?» – всё оказалось какой-то дурью – в итоге помолчали минуту, тема провисла, ни к чему не пришли.

Чувствуя, что пьянеет, Верховойский решил прибегнуть к прежним, проверенным способам отрезвления: прибавил температуры в парилке на максимум, наподавал так, что заявившийся армянский массажист тут же вышел, а стриптизёрша даже не стала заходить, полюбовавшись клубами пара сквозь стеклянную дверь.

Таджикская певица терпела, розовея. Спустя минуту они вместе побежали к душевой, встали в соседние кабинки, он врубил себе холодную, но оказалось, что вода слишком холодна, в связи с этим он, натянув шланг, направил леденящую струю душа на соседку – она даже не вскрикнула, но атаковала в ответ. Тут уместным было бы бросить свой шланг к чёрту и сделать шаг к ней под душ, наказать её там как-то, схватить за что-то, всё к этому шло.

Но, вообще говоря, это было не в традициях Верховойского, он всегда стремился избежать такого поворота событий – избежал и в этот раз. Просто прибавил тёплой и ополаскивался минут семь, в основном поливая замечательно пьяную, бесчувственную и мягкую, как винная пробка, голову. Таджикская певица тоже пошумела душем и ушла.

Стриптизёрша танцевала, встав на лавку, писатель-почвенник спал сладко, как Илья Муромец, сын пастора обнимал таджикскую певицу за плечо, но Верховойскому вдруг показалось, что ей явственно, агрессивно мало одной руки, лучше две или даже четыре – и пусть все руки скользят по ней.

Нет, это нельзя вынести. Нет, этого нельзя допустить.

Надо что-то предпринять. Надо разлить алкогольной жидкости. И выпить её.

– Беса тоже можно подцепить. Как венерическую болезнь, – улыбаясь, цедил сын пастора, разговаривая непонятно с кем.

Верховойский ещё раз внимательно осмотрелся – нет, действительно, на сына пастора никто не обращал внимания.

И он не стал обращать – ушёл, спрятался в парилке.

Поддал, посидел, поддал, улёгся. Даже вроде бы заснул. Снова поддал.

– Хорошо? – спросил его маленький, поросший белым волосом человек. Белый волос вился по его скользкому телу, как водоросли по морскому камню, – было понятно, что если прикоснуться к человеку рукой, то на пальцах останется нехорошее, брезгливое ощущение даже не рыбы, а какого-то пахучего болотного гада. Волосами были покрыты его крупные, мясные уши, вдавленные виски, короткая шея, некрупное тело с большой грудной клеткой – настолько большой, будто бы у него горб вырос впереди. И только кисти рук были безволосые, розовые, будто бы варёные, с пальцами, лишёнными ногтей.

Он приветливо улыбался – лицо старенькое, а выражение задорное; сидел недвижимо, но казалось, что внутри него всё шевелится и слегка бурлит, словно это бурдюк с варёными, распавшимися от жара на разноцветные вялые волокна овощами.

Руки он держал перед собой, и пальцы, лишённые ногтей, всё время чуть шевелились, словно против воли, словно бы независимо, как бы отдельные от него, будто бы живые.

* * *

Когда Верховойский, поспешно натянув на мокрое тело носки, рубашку, трусы, джинсы, уходил, то ли драматург, то ли стриптизёрша танцевала с голой грудью, проснувшийся писатель-почвенник крестился, неотрывно глядя на неё, армянский массажист дирижировал танцем своей подруги при помощи расплёскивающейся бутылки водки, таджикская певица лежала на животе, в комнате отдыха, одна, постелив простынку на кожаный диван. Сына пастора не было видно.

Верховойский не попрощался.

На вокзал он приехал раньше времени – за три часа.

У него было странное, ухмыляющееся настроение – как будто он впервые что-то украл, но никто этого не заметил. Его слегка пошатывало, но в меру. «Не было никакого старичка», – твёрдо решил он, быстро успокоившись. Улёгся на лавку, уверенный, что не заснёт, а только немного подремлет, и в ту же секунду исчез из сознания.

Его растолкал полицей, сообщив, что на лавках лежать не стоит.

Верховойский тут же встал, демонстрируя своё замечательное физическое состояние и восхитительную степень трезвости, но полицей, не оценив всего этого рвения, ретировался.

Часы на стене явственно показывали, что поезд Верховойского ушёл. Он всё равно не поверил – сбегал, отчаянно ругаясь матом то про себя, то полужёпотом, то в голос, – на перрон. Ну да, так тебя и заждался твой проводник, удерживая состав за поручень.

– Полицай! Сука! – ругался Верховойский. – Где тебя носило! Ты не мог меня разбудить раньше! Тупой скот! Наберут тупых скотов! Видит ведь – спит человек! Неужели нельзя догадаться, что его надо разбудить? Чем они вообще занимаются!

Побежал к кассам, там, неизвестно откуда, в два часа ночи образовалась очередь. Люди стояли странные, смурные, медленные, кто в капюшоне, кто в платке, лиц не разглядеть. Что-то подолгу шептали кассиру в окошечке – будто рассказывали историю своей медленной и смурной жизни. Кассир, не поднимая глаз, долбила по клавишам, как наборщица.

Верховойский едва сдерживался, чтоб не начать бить и топтать всех стоявших впереди.

Через час еле добрёл до кассира, но та ровно перед Верховойским захлопнула свои ставни, воскликнув: «Я же говорила: не занимать!»

Он встал к соседнему окошку, почему-то туда никто не занимал – оказалось, что это касса с доплатой за срочность. Срочно купил билет на поезд, который уходил через три часа. Других поездов не было. Срочность стоила тысячу рублей.

Расплатившись, Верховойский обнаружил свободное окно для простых людей, где очереди не было вовсе и кассир скучала, распределяя мелочь по отделениям кассы.

Никогда еще Верховойский так не презирал себя.

Он начал по уже неистребимой привычке нынешнего городского человека искать мобильный телефон – ну вдруг какие-то важные эсэмэски пришли, а он не заметил, или звонил кто-то близкий и надёжный, а он не слышал, к тому же в телефоне собственное, всегда самое точное время – не то что на этих вокзальных часах – кто знает эти часы! – а в своём мобильном часы и минуты карманные, тёплые, родные.

Прощупывая даже не седьмой, а только второй карман, Верховойский наверняка понял, что телефон потерян, оставлен, забыт, отчуждён навсегда, – так же, наверное, очнувшись после операции, прислушиваясь к себе, вдруг понимают, что на этом пустующем месте когда-то была их нога, почка, другой изъятый в кровавый и холодный таз орган.

Мысль Верховойского начала метаться – и неотъемлемая глупость этой мысли висела у неё как консервная банка на кошачьем хвосте: избежать этой глупости было невозможно, она ужасно гроыхала. «В бане оставил? – думал Верховойский. – Украли на вокзале? Выропил в такси?»

Как будто всё это имело значение.

Думать о потере было бессмысленно – украли и украли, выпал и выпал, а если он всё-таки оставил телефон в бане, его вернут пьяные товарищи – хотя и они могут забыть, не заметить, – но, в любом случае, искать ночью товарищей не станешь, да и где их искать, да и как их искать – Верховойский, подобно подавляющему большинству своих современников, не помнил ни одного дружеского телефона, – а были времена, когда люди носили в голове целые телефонные книжки, ну или как минимум дюжину номеров.

Ещё с полчаса, гоняя пешим ходом по платформе туда и обратно, Верховойский размышлял о своём телефоне и ненавидел себя, размышлял и ненавидел себя, и всё ненавидел и ненавидел себя, и ещё немного размышлял по прежнему кругу.

Последний раз он звонил, когда вызывал такси, но это был стационарный телефон на квартире, а до этого – до этого всё было так давно, ужасно давно, – за это время мобильный мог вырасти, жениться, сбежать из дома, попасть в тюрьму, отрастить усы, сменить адрес, цвет, вес, обои, плитку в прихожей, цветок на подоконнике.

– Какая ты тупая мразь, Верховойский, – говорил себе Верховойский. – Зачем ты, мразь, напился? Зачем? Ты хлестаешь, мразь, целыми днями! Зачем ты, мразь, непрестанно пьёшь? – но одновременно Верховойский уже озирался в поисках ночного, с разливом, ларька – потому что голова пылала изнутри – как будто он случайно унёс в мозг всю баню с её пеклом – и после его ухода компания сидела в недоумении, подмерзая в холодной луже и на вдруг образовавшихся сквозняках.

Виски взбухали, и затылок переживал невыносимые перегрузки. В голову что-то ломилось и потом ломилось прочь из головы.

Организм вопил о пролонгации медленного алкогольного суицида. Организм требовал перезагрузки, дозправки, прививки.

На сотом полувздохе «ну ты и мразота, алкашня, гнида проспирто...» Верховойский решительно направился к ларьку.

– Пива, – попросил он хрипло, как если бы первый раз в жизни, сбежав от жены, вызывал по телефону проститутку в гостиничный номер. – Тёмного и светлого. Две.

«С двумя буду. С тёмной и светлой», – попытался себя развеселить Верховойский, хотя желание, например, садануть собственной головой о стекло ларька вовсе не утихло, а увеличивалось со скоростью летящего к земле парашютиста, не раскрывшего парашют.

Спасти могло только пиво – Верховойский открыл его мгновенно и тут же, у окошечка, начал с тёмного, с тёмненькой – тёмненькая пришла, повозилась, всосалась, прониклась, и, да, да, да, ещё раз, ещё вот так, ещё глубже, ещё глоток – залечила, избавила, вернула к жизни.

Что до светлого... светлая уже разглаживала, ласково чесала грудь, дышала куда-то в шею, не делала резких движений, после неё – после светлого пива – ужасно захотелось курить, – если не покурить – испарится всё счастье, всё удовольствие, вся радость – невыносимая, разноцветная полнота чёрно-белого бытия.

Верховойский закурил и поплыл: сначала внутри головы, а потом вослед за головой – глядя в грязный асфальт, то бормоча, то напевая вполголоса. Ну опоздал на поезд. Ну что? Утром поеду. Всякое бывает. Что мы, не люди, что ли. Право имеем. Не тварь дрожащая.

За первой сигаретой Верховойский сразу прикурил вторую, чтоб пар не кончался, чтоб жар не стихал, и шёл на парю вперёд, ведомый выдуваемым дымом.

Дед нарисовался из ночного воздуха, испарений, фонарных бликов – всё такой же, увитый своим белым волосом, только одетый, – завидев Верховойского, сразу куда-то заспешил, в другую сторону.

Верховойский махнул ему рукой – в руке бутылка недопитого светлого пива – никакой реакции; крикнул – та же ерунда. Бежать с бутылкой было неудобно – пришлось допить, обливаясь.

– Дед! – выдохнул в полную грудь. – Ты чего за мной ходишь? – и сам рванул за дедом.

Тот, казалось, по-заячьи вскрикивал от ужаса и всё никак не мог набрать скорость, семеня на своих гадких ножках.

Верховойский хохотнул, нагоняя:

– Ты, бля, бес, врешь, не уйдёшь!

Был готов зацепить деда за плечо, но тут его самого развернуло в противоположную сторону, ударило по ногам, ошарашило, сбило...

Полиций держал Верховойского за шиворот. Тот силился вывернуть голову, чтоб посмотреть на деда, и не получалось.

– Он бежит за мной! Бежит! – вскрикивал дедушка. – Бежит и бежит!

– Ты сам за мной ходишь! – громко ответил снизу Верховойский, хотел ещё добавить, что дед явился к нему в баню, прямо в парилку, но даже в своём пропитом состоянии догадался, что последняя претензия прозвучит сомнительно, тем более что, перехватив его покрепче, полицейский сказал: «Заткнись пока!»

Его напарник отвёл деда в сторону, о чём-то с ним переговорил, а дальше Верховойский ничего не видел, потому что его подняли и повели, больно держа за локоть.

– Чего вы в меня вцепились? – спросил Верховойский. – У меня паспорт есть, яезда жду.

– Заткнись, – повторил полицейский, только ещё более неприятным тоном.

В привокзальном участке у Верховойского забрали документы, ремень, деньги и посадили в клетку.

Минут через десять пришёл полицейский, весь какой-то старый, серый, желтозубый, носатый, из носа волосы. Уселся за стол неподалёку от клетки и стал листать паспорт Верховойского так внимательно, будто искал там штамп: «Разыскивается Интерполом».

– Господин полицейский! – жалобно попросил Верховойский. – У меня в паспорте лежит билет, обратите на него внимание!

– Ты что тут рисуешься у вокзала? – спросил полицейский, помолчав.

– Яезда жду! Где мне его ещё ждать? На Красной площади?

– А за дедом чего гнался? – спросил полицейский через полминуты. Казалось, что звук до него доходил очень долго.

Зато до Верховойского – мгновенно.

– Спутал со знакомым, – сказал Верховойский.

– Пьяный ты, – горестно сказал полицейский ещё через минуту. – Мы десять минут смотрели, как ты там колобродил...

– Я ведь просто пиво пил, – сказал Верховойский.

– А ты знаешь, что пиво нельзя пить на улице? – строго поинтересовался полицейский и тут же, без перехода, спросил: – Сколько денег с собой было?

– Не помню... Было что-то...

– Ну, вспоминай, – посоветовал полицейский и ушёл.

Верховойский скучал в клетке. Пивные силы начали оставлять его, к голове подступали чёрные тучи, свинцовые обручи, пахучие онучи.

Он зажмурился от ужаса: состояние было такое, что смерть казалась и близкой, и мучительной.

«А вот открою глаза – а тут опять дед сидит!» – подумал Верховойский. Подождал и открыл глаза. Никого не было. Лучше б, наверное, было. Он чувствовал невыносимый стыд и ужас.

«Значит, я не чудовище, раз мне чудовищно, – вяло, с чёрной тоской в мозгу каламбурил Верховойский. – Чудовищу ведь не может быть чудовищно – ему всегда нормально...»

Последнее «о» отозвалось такой пульсацией в голове, словно вся она была полна мятежной и мутной кровью, рвущейся наружу.

Морщась, Верховойский прилёг на пахнущую всей человеческой мерзостью лавку, некоторое время пытался заснуть, и даже вроде бы получилось, но пробуждение случилось быстро – что-то больно взвизгнуло в области шейных позвонков, и пришлось очнуться.

Верховойский начал тихо стонать, то открывая глаза, то закрывая, – голову ни на мгновение нельзя было оставить в покое, иначе случилось бы что-то непоправимое. В очередной раз открыв глаза, увидел часы в дежурной комнате – оказывается, до поезда оставалось всего пятнадцать минут.

– Господин полицейский! – позвал Верховойский из глубины своего чёрного, заброшенного, всеми плюнутого колодца. – Господин полицейский!

Его слышали, но никто не реагировал.

– Да что ж это такое, – сморщился, как старая обезьянка, Верховойский; наверное, он был ужасно некрасив в эти минуты.

– Да что ж это такое! – крикнул он, когда осталось уже минут шесть. – Что же вы так издеваетесь! Как же вам не стыдно!

Еще через полторы минуты пришёл дежурный. Неспешно открыл клетку, попросил Верховойского расписаться в журнале, отдал паспорт, ремень и сказал: «Свободен!»

* * *

К поезду Верховойский мчался бегом, впрочем, через двадцать метров осознав, что значат тысячи сигарет и многие литры алкоголя, пропущенные через его тело.

Вдоль состава он уже не бежал и даже не шёл, а только, будто агонизируя или отбиваясь от ночного кошмара, перебирал бескостными, готовыми согнуться в любую сторону ногами. Он ещё пытался прибавить ходу – но на самом деле лишь мелко семенил, изображая бег, – в конце концов, если б он просто и привычно шагал, это оказалось бы куда более быстрым способом передвижения.

– Ну, давай же! – звала Верховойского проводница далёкого, как материнская утроба, вагона; лицо её расплывалось сквозь его слёзы, в которых тоже было градусов тридцать спиртовой крепости – откуда ж в теле Верховойского взяться чистой воде; дышал он недельным перегаром – попав в это дыханье, небольшая птица рисковала ослепнуть.

Он не пошел в купе сразу, а стоял в тамбуре – изо рта текла и не вытекала бесконечная слюна, такая тягучая и длинная, что на ней можно было бы удавиться.

«Интересно, а можно вот так умереть?» – думал он, пульсируя всем телом.

Поезд вздрогнул, сыграл вагонами, тронулся, проводница ушла, и Верховойский, обернувшись к противоположной двери, увидел того самого, поросшего волосами дедушку – он стоял на платформе и кому-то махал рукой и делал всякие дурашливые знаки, типа: держись, крепись, веселись, не упускай своего.

Поспешили назад по своим делам привокзальные здания, недострои и долгострои, начали делать длинные прыжки придорожные столбы, а Верховойский всё стоял в тамбуре.

Потом, неожиданно для самого себя, собрал отсутствующие силы и пошёл в купе.

Там уже разложились и спали три мужика. Его верхняя левая полка была свободной.

На улице рассвело – состав нёсся сквозь весеннее утро; начались леса; некоторое время Верховойскому казалось, что он слышит поющих птиц, – одновременно он стягивал джинсы, рубаху, носки – всё пахло пьяным телом, пьяной кожей, всею плотью, но в первую очередь разлагающейся, вдвое увеличенной печенью и ещё скотом, скотобойней...

Накрыв голову подушкой, Верховойский попытался заснуть.

Зашла проводница, ещё раз проверила его билет.

Как только отступало тяжёлое опьянение, у Верховойского начинались измучивающие половые позывы – судя по всему, тело понимало, что вот-вот издохнет, и требовало немедленного продолжения рода. Проводница была в синей юбке, не очень молода, не очень красива – но она могла бы продолжить род, она могла бы. Верховойский терзал себя мыслями, как он лезет к ней в её маленькое рабочее купе в самом начале вагона, а потом лезет в эту синюю юбку – как в мешок с подарками – и долго нащаривает там рукой: что же я хотел тебе подарить, дружочек, что-то у меня тут было, какой-то живой зверёк, ну-ка, где ты, мышь, сейчас я тебя найду, вцеплюсь в тебя пальцами...

Сон снова подцепил Верховойского, словно поймал его в старую сеть с большими прорехами – всё время наружу высывались то рука, то нога, то лоб – и тогда рука, нога или лоб замерзали, леденели, и Верховойский поспешно прятал эту часть тела под одеяло. Сон тащил его на берег, рыбак не был виден, Верховойский не сопротивлялся и только страдал всем существом.

На берегу Верховойский вздрогнул и остро, как укол булавки, понял: умер сосед по купе.

Умер наверняка.

Сосед не дышал и не шевелился – восковая, твёрдая, чуть жёлтая шея, видная из-под одеяла, явственно давала понять: труп.

Всё это Верховойский вспомнил и понял, ещё не открыв глаза.

«Как быть?» – решал. С одной стороны, труп себе и труп. Просто лежит. Проводница обнаружит, что это уже не пассажир, а труп пассажира – на конечной станции следования – где выходит и Верховойский, – но он же выйдет раньше.

«Хотя потом начнётся следствие, – размышлял Верховойский. – Будут вызывать. Возможно, я стану подозреваемым в убийстве. Он, кстати, не убит ли? Быть может, он не просто умер, а его убили?»

Верховойский скосился вниз и сразу увидел эту шею, этот воск.

Он ещё какое-то время представлял, как его находят в городе, везут на допрос или на опознание.

У Верховойского имелась странная черта: он был способен, хотя не очень любил, врать, зато искренне говорить правду не умел вовсе – получалось сбивчиво, нелепо и подозрительно. Если б его, к примеру, поставили перед вопросом: «Ты украл деньги?» – в любой ситуации, в случае пропажи чьей-то сумочки на работе или некой суммы из портфеля в школьной раздевалке, – он бы растерялся, и начал бы молотить околесицу, и вообще вести себя так, что всем сразу стало бы очевидно: вот он, ворюга.

И тут, значит, убийство в купе. Вошёл самым последним. Все спали. У него единственного была возможность убить. Тем более что спал к тому моменту и потерпевший, впоследствии ставший мёртвым. Пока он не спал – его было убить сложнее. А заснувшего – возьми и убей.

Взял и убил.

И забрался спать на верхнюю полку, какой цинизм! – думал о себе Верховойский как о натуральном убийце.

«Я находился в состоянии алкогольного опьянения, – начал он оправдываться перед судом присяжных, – у меня ужасно болела голова... я пил уже пятый, нет, шестой день, спал мало, похмелялся уже с утра, тёмным пивом... к тому же я был в бане – и там... В общем, неважно».

– Нам всё важно! – ответил твёрдо, но устало судья.

– Это было не-пред-на-ме-рен-ное убийство, – произнёс Верховойский искренне и с болью в голосе, снимая все вопросы сразу.

Тут где-то позади Верховойского, за стенкой купе раздалось быстрое женское дыхание, и сразу стон – лёгкий, нежнейший, не оставляющий никаких сомнений, что с этой женщиной сейчас происходит.

Верховойский тут же забыл про соседский труп, чёрт бы с ним, и обернулся к стене, за которой слышалось ритмичное постукивание чего-то о что-то. То ли стучал не снятый с ноги мужской ботинок, то ли оставленная на женской ножке туфелька, то ли голова – быть может, даже женская голова, а может, и колено, чьё угодно колено – места же мало на полке, куда деть четыре колена сразу.

Женщина ещё раз застонала. Голос был молодой, ломкий, удивляющийся.

«Но как же? – подумал Верховойский. – Там же купе! Одно дело труп – он может просто лежать, никому не мешая! Но женщина – её же услышат все соседи по купе!»

Верховойский, как слепой, суетно и торопливо трогал стенку, выискивая планку, которую можно отогнуть, или шуруп, который можно вывернуть, – чтобы всё, насквозь, увидеть.

«Какое же там у них счастье происходит! – думал Верховойский. – Какое счастье и радость! Как им обоим счастливо и радостно! Почему же люди почти всегда делают это друг с другом, сплошь и рядом, за каждой стеной, а я почти никогда, – а когда делаю – у меня нет такого счастья, какое было бы, окажись я сейчас там, за стенкой, между чужих розовых коленей!»

«А какая эта женщина?» – думал Верховойский. Когда слышишь подобный, вскрикивающий и задыхающийся женский голос, всякий раз ужасно – просто ужасно! – желается её увидеть. Она ведь должна быть красивой. Или просто хорошенькой. Но очень хорошенькой. Такой вот хорошенькой, от которой вовсе не подозреваешь подобных поступков – чтоб решиться в поезде... или где-то в другом, почти общественном месте... где могут застать, заметить...

Верховойскому к тому же очень не хотелось, чтоб кто-то из соседей по его купе, исключая, естественно, мёртвого, услышал происходящее за стенкой.

Женщина тем временем стихла – как-то разом, как отрезало, – ни перешёптывания, ни смеха, ничего.

Верховойский вдруг догадался, почему она могла себе позволить такое поведение. Его купе было вторым от закутка проводницы. Между проводницей и купе Верховойского, кажется, было ещё одно, маленькое, как конура, одноместное купе – туда-то и забрались эти... двое...

«Совсем стыда нет, – сладко, но чуть обиженно думал Верховойский. – Совсем нет... Ладно, меня не стесняются – я-то всё понимаю, но проводницу! Ей каково!»

«И теперь притихли там... Нет бы ещё... пошевелились...»

Пока женщина за стеной дышала, Верховойский даже забыл, как мерзко он себя чувствует, какая мука заселилась в его голове.

А в тишине опять вспомнил.

Вот если бы его позвали в соседнее купе – у него даже голова прошла бы. Может быть, попробовать объяснить этой женщине, что ему нужно... в общем говоря, он ведь хочет её не из половых прихотей, не из разврата, не из пошлости, не по причине неистребимой мужской кобелиной сути – нет, всё не так. Просто у него очень, очень, очень болит в голове. Некоторая помощь необходима ему, чтобы избавиться от страдания. Это акт милосердия будет с её стороны, ничего общего не имеющий с плотским копошеньем. Даём же мы таблетку цитрамона страдающему человеку. А если у вас нет цитрамона? Нужна же хоть какая-то замена!

Верховойскому не терпелось выйти в коридор и посмотреть, какая она – она же ведь должна была вскоре появиться, сходить в туалетную комнату, поправить причёску и прочее.

«Какой вид у неё будет? – размышлял Верховойский. – Независимый? Уставший? Весёлый?»

Весёлый – самое маловероятное. Напротив, казалось Верховойскому, женщины тут же забывают, что с ними происходило, ведут себя так, словно бы они ни при чём.

Но всё-таки надо выйти и проверить: так всё будет или как-то не так.

Верховойский перевернулся на другой бок и снова наткнулся на воск. О, какая поганая мёртвая шея.

Надо что-то сделать с воском.

«Всё время надо что-то делать», – печалился Верховойский.

Он лежал, пытаясь хоть о чём-нибудь размышлять, но ничего не выходило. Мысли путались одна за другую, и получалось думать только отдельные слова, причём каждое с восклицательным знаком в финале: «...пытаюсь!.. надо!.. сосед!.. выйти!.. поезд!..»

Устав вконец, Верховойский приступил к одеванию, стараясь не помнить, что у него творится в голове. Голова разрушалась и сыпалась.

Рывками натянул джинсы – отчего-то джинсы изнутри пахли, как если бы в них слило мочу какое-то мелкое животное вроде ежа. Рубаху натягивал, уже спрыгнув вниз (в голове при этом что-то спрыгнуло вверх), и одновременно влезал в ботинки. Надо было идти к проводнице, чтобы сообщить ей про труп. Осталось только убедиться, что это всё-таки труп.

Верховойский тихо и медленно просунул руку под простыню и потрогал ногу трупа. Пятка была ледяная. Под простынёй лежал мертвец, безусловный и очевидный. Верховойский повёл рукой дальше – вдоль ноги, и тут мужчина неожиданно и резко развернулся, вскрикнул, уселся на своей нижней полке – делая всё это одновременно.

Верховойский удивлённо смотрел на кричащего человека. Оживший труп, сначала просто кричавший какую-то согласную букву, вскоре придумал отдельное слово, которое можно было с выражением выкрикивать.

– Грабят! Грабят! Грабят! – восклицал он.

Тут же проснулись остальные два соседа по купе.

Сосед сверху сначала перегнулся и посмотрел вниз на кричавшего, а потом уже на Верховойского.

Сосед снизу, находившийся за спиной Верховойского, присел на своей полке и быстро попытался подтащить к себе ботинки пальцами ног.

Верховойский сделал шаг вбок, потому что мешал соседу искать ботинки, а тот ещё и подтолкнул Верховойского.

Верховойский отскочил к самой двери и озирался оттуда.

На шум ворвалась проводница:

– В чём дело?

– ...полез ко мне в простыню! – кричал бывший труп. – ...что-то хотел вытащить у меня из карманов, – труп сдёрнул простыню, и здесь выяснилось, что он спал в брюках.

У трупа было тёмное, в чёрных крапинах лицо, он был носат, неприятен, набрякшие веки, неопрятная щетина, неровные зубы: лет под шестьдесят с гаком на вид, хотя наверняка сорок пять, ну, сорок девять.

– Чего мне нужно у тебя в простыне, идиот? – заорал Верховойский. – Что мне там взять?

– А! – заорал в ответ труп. – Значит, ты искал что взять!

– Я сейчас полицию вызову! – сказала проводница.

– Он искал что взять! – кричал труп, и чёрные пятна прыгали у него по лицу.

Верховойский скривился то ли от злобы, то ли от страха, то ли от бессилия, махнул рукой и ушёл в тамбур. В тамбуре не было никого.

Похлопал по карманам и – вот те раз! – нашёл в заднем смятую пачку с одной сигаретой.

Ах ты, сигарета. Ах ты, никотиночка моя.

Вот только зажигалки не было.

Сколько зажигалок он оставил на пьяных столах – ими наверняка можно было бы зажечь свечи перед иконами всех православных святых поголовно, и заодно подпалить несколько вражеских конюшен.

Но сейчас не было ни одной зажигалки и ни одного святого поблизости, чтоб дал прикурить. Только сам Верховойский отдавал конюшней.

Вроде бы оставалась зажигалка в куртке – но возвращаться в купе он боялся.

Какая же глупая ситуация: с одной стороны, всё-таки хорошо, что он не проходит по делу об убийстве, но зато теперь непонятно, из чего получился натуральный грабёж.

Ох!

Раскрылась дверь в тамбур, заглянул мужчина в синей форме – тоже, видимо, проводник.

Верховойский притих. В зубах его притихла сигарета, не шевелясь.

– Вообще здесь не курят, – сказал проводник.

Верховойский виновато сморгнул.

– Чё там у вас стряслось? – спросил проводник, вытаскивая из кармана зажигалку – большую, красивую, резную, в форме зверя, – и подал её Верховойскому.

Проводник был симпатичный, улыбчивый, с ямочкой.

Верховойский нерешительно прикурил. Попытался было вернуть зажигалку, но проводник отмахнулся:

– Дарю! Я неделю назад курить бросил!

Верховойский ответил просто и честно:

– Мне показалось, что он умер! Я решил проверить! Не будешь же труп трогать за голову: а вдруг живой? Я решил потрогать за ногу!

– Показалось, что умер? – проводник довольно хохотнул. – Умер и лежит, спать не даёт? – он ещё раз хохотнул.

Верховойский тоже улыбнулся – слабо, пристыженно, просительно.

– Первый раз такая ерунда, – пояснил он. – А тут ещё мы выпили... В баню пошли... Верховойский внимательно посмотрел на проводника, тот, приветливо щурясь, слушал и спокойно ждал продолжения речи.

– И в бане, – закончил Верховойский, – ко мне в парилку зашёл дед, поросший белым волосом, гадкий на вид. То есть не зашёл, а показался.

– Показался? – проводник широко улыбнулся. – То есть он не с вами был?

– Не с нами, – сказал Верховойский. – Его вообще не было.

– Добрый дед-то? – спросил проводник заинтересованно.

– Вроде да, – ответил Верховойский.

– Это банник, – сказал проводник весело и уверенно, как про своего знакомого. – Банник паровой.

– Что это? – спросил Верховойский.

– Нечисть! – просто ответил проводник, но посреди слова закашлялся и долго кашлял, согнувшись. Откашлявшись, пояснил с улыбкой:

– Курить, говорю, бросил неделю как... А тянет. Ни от одной привычки не отвяжешься никак!

Они постояли молча. Верховойскому всё-таки было не по себе.

– Что теперь, полицию вызовут? – наконец спросил он проводника.

– Да ладно, какая полиция, – отмахнулся проводник. – Иди, досыпай...

– Я, знаете, не хочу. Боюсь. Я, наверное, тут в тамбуре постою, – сказал Верховойский.

Проводник внимательно посмотрел на него, вздохнул, попутно полюбовался на один, а затем на второй носок своих отлично вычищенных ботинок и решил:

– Иди в шестое купе, хорошо? Там нет никого.

* * *

Верховойский докурил.

Чем дальше курил – тем меньше было удовольствия. Во рту стоял мясной вкус – притом что это был вкус собственного мяса.

По вагону он прошёл быстро, пугаясь, что дверь в его купе будет распахнута – тогда ему придется столкнуться с ожившим трупом и ещё о чем-то объясняться.

Но нет, все купе были закрыты.

Верховойский нашёл шестое и поскорей спрятался там. Оно оказалось пустым. Это было прекрасно. Кабы не голова – совсем было бы хорошо. Но пока было совсем плохо.

Он в очередной раз снял рубаху и джинсы, и опять взобрался на верхнюю, уже расправленную полку, и зарылся в одеяло. Сделал там себе домик, лежал в темноте, дыша освежёванным телом, ежиной мочой, варёной печенью, плесенью, вчерашним спиртом, прокисшим пивом. Уютно...

«Куртку потом заберу... Перед самым выходом...» – решил Верховойский.

Но опять укусила булабочная игла, и он, сев, остро и болезненно вспомнил (он же только что видел!): рядом с его прошлым купе не было никакого одноместного – а сразу закуток проводницы.

«Это, что ли, проводница так развлекалась? – спросил он сам себя. – А с кем? С этим вот вторым проводником?»

Минуту Верховойский сидел, потом у него стали мёрзнуть плечи, и он снова улёгся.

«Чего ты всполошился-то? – поинтересовался сам у себя. – Ну, проводница и проводница... Хотя голос ведь совсем не её был!»

«А с чего ты взял, что не её?»

«Не похож!»

«Женщины, когда так делают, – они тоже не совсем на себя похожи, и этот их голос ты никогда не услышишь, даже если очень попросишь! Даже... если очень...»

Верховойский начал задрёмывать – в полудрёме вспоминая, что в прошлом купе... этот ограбленный труп с носом и плохими зубами... он почему-то был похож на полицейского, что возвращал ему паспорт... а деньги, кстати, зажал... да и все остальные соседи по прежнему купе... оба мужика... тоже почему-то были похожи друг на друга и на этого носатого... и как сильно пахнет плотью... землёй какой-то...

– О как! – громко сказали рядом с Верховойским.

Выждав секунду, он осторожно выпростался из-под одеяла, успев подумать, что это полицейский из дежурной части явился, или, скорее, труп из прошлого купе, или они оба в одном носатом, в чёрных крапинах лице.

На Верховойского смотрел незнакомый мужчина, очень приличный, белолицый, явно раздосадованный.

– Я понимаю, что вам хочется спать, – сказал он. – Но отчего всё-таки именно в моей кровати, которую я оставил полчаса назад? Вам не хотелось согреть своим телом простынь? Вы предпочитаете для сна тёплую постель?

Самое неприятное, что вслед раздосадованному господину вошла молодая женщина, очень красивая, независимого вида.

Верховойский вспомнил, что за минуту до его пробуждения была остановка поезда. Судя по всему, это была последняя станция перед его городом.

Молодая женщина поставила красивую сумку в самый дальний край нижней полки, а после изящно уселась сама, закинув ногу на ногу. Она была в отличных, остроносых, украшенных цепочками и серебряными бляхами сапожках. Внешне всё происходящее в купе её не волновало. Но Верховойский отлично знал такой сорт молодых женщин: за этой бесстрастностью стояло идеальное, до миллиметра выверенное презрение к дурнопахнущему человеку, к чему-то забравшемуся в чужую постель.

«Как будто эта сука сама никогда не была в чужой кровати!» – зло подумал Верховойский.

– Вы как-то поясните своё поведение? – спросил между тем строгий господин.

– Вы хотите лечь? – спросил Верховойский, едва разлепив ссохшиеся губы и с трудом шевеля языком.

– Вы предлагаете мне лечь рядом с вами?

– Мы через двадцать минут уже приедем, – сказал, изнемогая от хаоса в голове, Верховойский.

– То есть что нам зря время терять? Двадцать минут у нас есть?

– Чёрт! Чертовщина! – сказал Верховойский, садясь, – внутренности головы качнулись как холодец, – обнимая себя за холодные и мокрые плечи, он почти прокричал: – Меня сюда уложил проводник! Слышите? Проводник! Подайте мне мои джинсы!

– Проводник? – переспросил строгий господин, джинсы, оставшиеся внизу, естественно, не подавая. – Сейчас мы спросим у самого проводника.

«Сейчас придут опять... а я в трусах... в чужой постели...» – грустно, будто бы предсмертно думал Верховойский.

– Извините! – позвал он молодую женщину, сидящую внизу. – Мне очень неудобно! Но не подадите ли вы мне джинсы?

Она подняла на него глаза и тут же спокойно отвернулась к окну, будто бы ничего не слышала. За окном столбы замедляли свои прыжки, неразличимые на скорости провода медленно расплетались, становились видны, их можно было сосчитать. Верховойский сосчитал: шесть. Кажется, шесть проводов или около того.

Пришла проводница в синей юбке.

– Просто нет слов, – сказала она. – У вас всё в порядке с психикой, молодой человек? Вы что тут вытворяете?

Объясняться, сидя в трусах на чужой кровати, было нелепо, и, плюнув на всё, Верховойский прыгнул вниз.

Молодая красивая женщина поднялась и демонстративно вышла вон.

Строгий господин хотел вроде бы остаться в качестве благодарного свидетеля расправы проводницы над этим ничтожеством, однако желание что-то важное сообщить незнакомой молодой женщине до прибытия поезда пересилило. Произнося что-то насмешливое в адрес Верховойского, но обращаясь уже к изящной даме, строгий господин исчез из проёма дверей.

Проводница, кусая губы, мазнула взглядом по одевающемуся Верховойскому и тоже вышла.

Он быстро облачился – его мучили разом и озноб, и тошнота, и страх, и полсутки не покидающее его чувство гадкого бреда.

Заметил красивую сумку, которую оставила молодая женщина.

«Я устрою тебе, тварь, – подумал Верховойский. – Джинсы тебе сложно подать мне, тварь. Смотри теперь, как будет!»

За всю жизнь Верховойский ни разу ничего не украл и даже не имел подобных желаний. Но тут в нём разом выросло огромное бесстыдное чувство – более острое, чем простой соблазн. Он раскрыл молнию чужой сумки – это было почти так же, как потянуть молнию на юбке, только ещё хуже, ещё болезненней, ещё жарче для сердца.

Верховойский, не разбираясь, рыл там рукой, желая на ощупь понять, какая вещь самая лучшая, самая дорогая, самая нужная этой твари, пренебрёгшей им, его джинсами, его обществом.

Но загрохотала дверь, и Верховойский резво отпрянул, угодив спиной ровно в объятия строгому господину.

– Да исчезнешь ты отсюда или нет! – сказал строгий господин, пытаясь разминуться в купе с Верховойским.

Верховойский почти выбежал в коридор.

Поезд замедлял ход, пассажиры выстроились в очередь у выхода.

Вид за окном дрогнул и встал. По недвижному асфальту пошли в разные стороны ноги.

Верховойский заглянул в первое купе и нашёл там свою куртку.

Долго ещё озираясь: не забыл ли чего?

Но у него ничего не было.

Выходил из вагона последним. На улице стояла уставшая проводница – под глазами тёмные круги. Такие бывают от недосыпа, и ещё – если перед вами недавняя вдова.

Проводница с какими-то смешанными, неясными чувствами смотрела на Верховойского.

– Вы ужасный пассажир, – сказала она. – Лучше бы мне вас больше никогда не видеть.

– Я ни в чём не виноват, – всплеснул руками Верховойский. – Меня в чужое купе отправил проводник! Неужели вы думаете, что я сам бы туда пошёл!

– Какой проводник! – ответила синяя юбка. – Тут только я проводница! Никто вас не мог отправить, не выдумывайте!

– Вот! – вдруг вспомнил Верховойский. – Вот, смотрите! Был проводник! Он даже зажигалку мне подарил! – и вытащил из кармана красивую, резную, в виде непонятого зверя зажигалку.

«Дешёвка, конечно, – попутно оценил Верховойский этот предмет, – но всё равно любопытная штука...»

– Откуда это у вас? – спросила проводница, забрав из рук Верховойского зажигалку.

– Я ж говорю, что он подарил! Проводник! – повторил Верховойский.

– Это Сергея зажигалка, – ответила проводница. – Он погиб неделю назад.

Верховойский шмыгнул носом, поиграл челюстями, снова шмыгнул и пошёл прочь.

«Хватит уже, – неопределённо сказал себе. – Хватит. Оставьте меня в покое...»

Напоследок оглянулся: да вот же он, спиной к Верховойскому, стоял всё тот же проводник, что подарил зажигалку. Верховойский крикнул «Эй!» – но только голубь взлетел, а из людей никто не оглянулся.

И ладно. И бог с ними. И пусть.

Дом Верховойского был неподалёку от вокзала. В доме жила мама, ждала молодая жена, беременная, с животом тугим, яблочным, ароматным.

Он открыл своим ключом, из кухни вышла мама, улыбаясь.

– Где? – спросил он.

– Не вставала ещё, – ответила мама, вглядываясь в Верховойского.

– Раздевайся, – попросила. – Снимай с себя всё. От тебя смрадом несёт. Ты где был-то? С кем общался? Сынок?

Верховойский молча, не стыдясь матери, разделся догола и только попросил:

– Ледяную включи мне.

Зима

А. Т.

– А если я попробую выйти к морю напрямую? – спрашивал сам себя вслух.

Они приплыли вчера вечером на пароме из Неаполя; был сильный ветер, и её укачало.

Последние пятнадцать минут она сидела, закусив губу и глядя в одну точку.

От причала ехали куда-то вверх на автобусе, потом шли пешком.

Она держалась за его руку и даже не смотрела по сторонам – на все эти скалы, всех этих чаек, на спокойные и тихие огни – выглядевшие так, словно кто-то нещедро посолил крупной солью влажную тьму.

Пока он общался на ресепшен с хозяйкой гостиницы – полной, улыбчивой женщиной, она ждала на улице, сиротливо присев прямо на ступеньку и прижавшись головой к железным перилам.

...бледная и отстранённая, едва добралась до кровати.

Её уставшее, будто обращённое в себя лицо, маленькие, красиво и точно прорисованные, а сейчас потерявшие цвет губы, и маленькие зубки, всегда очень белые, и маленький язык во рту – этот язык, который... Впрочем, ладно, ладно – и так понятно, как невыносимо он любил всё это, держа в руках её голову, дыша светлыми, влажными волосами и находя то, что видел, совершенным: ноздри, маленькие, как у куклы, мочки ушей, прохладные и тоже до смешного маленькие, линию лба, родинку на виске, сам висок, шею...

Она сразу легла спать, и спала беззвучно и крепко.

Он же засыпал трудно, вслушиваясь в шум близкого моря, – а ещё ночью пошла гроза, и это было так прекрасно: лежать в комнате, когда там, над необъятной водой, бьют молнии.

Проснулся рано утром, несколько раз едва-едва прикоснулся указательным и средним пальцем к её плечу: она спала спиной к нему, кажется, ни разу не шелохнувшись за ночь.

Стянул со своей груди покрывало так бережно, будто собирался себя своровать.

В комнате надел только брюки. Майку, свитер, куртку и шарф взял с собой, и всё это натягивал и накручивал на себя уже в коридоре – чтоб не разбудить её. Опасаться того, что кто-то посторонний вдруг увидит полуголого мужчину, не стоило – в гостинице они жили одни.

...да и пять утра – кто ещё выйдет гулять в пять утра?..

В ботинках с незавязанными шнурками он поспешил на улицу, словно бы валяя дурака и даже чуть-чуть кокетничая, – вот я какой, иду, будто бродяга, и шнурки за мной волочатся, и незаправленная майка торчит из штанин, и ремень болтается, и морда наглая, неумытая, влюблённая.

Воздух был густой, влажный, всё кричали и кричали чайки, во двореке покачивала на ветру красивой причёской пальма, дождь возвращался обратно в море – откуда пришёл.

Все отели и кафе – а он немедленно увидел вокруг множество крыш и веранд – были закрыты: зима.

Он влез на ближайший парапет и, глубоко вдыхая, стоял там. Сырой ветер тыкался в щеку.

Так прекрасно, так удивительно – никого нет, ни души, ни тела... цепочки и маленькие почтовые замочки раскачиваются на дверях и калитках, а кое-где входы в отели закрыты досками крест-накрест – ну, смешно же!

Недолго думая, перепрыгнул через маленький забор ближайшего отеля.

«Какой я молодой и ловкий», – подумал, словно бы наблюдая себя со стороны.

Старался ступать аккуратно – всюду была плитка, разноцветная и скользкая.

«А то поскользнёшься и полетишь вверх ногами, вот будет смеху, когда тебя найдут тут мёртвого, с разбитой башкой...»

Сквозь большое и толстое стекло он разглядывал стойки и столики кафе в фойе пустующего отеля. Стулья были не собраны, а так и остались стоять, будто в ожидании посетителей.

На стойке администратора лежал раскрытый блокнот, и даже виднелась какая-то запись.

«Интересно, что там написано? – думал он. – К примеру: „Господин из пятого номера попросил его разбудить в полдень“... И вот не разбудил, и господин там спит до сих пор, ха. Или: „Забыл собрать стулья и подмести, вернусь в следующем году и всё доделаю“...»

От постоянных дождей стёкла были грязными. Он приложил руку и потом смотрел, как быстро тает на стекле его ладонь.

Отели располагались один за другим. Их строили на спуске к морю, и каждый последующий отель был чуть ниже предстоящего: странно, что тут не догадались снимать фильмы, где несколько злых людей пытаются поймать одного доброго, который к тому же оказался в компании милой, но неопытной и немного болезненной девушки – девушка, правда, в самый нужный момент откуда-то появится, проявит решительность: поднимет выпавший пистолет, выстрелит кому-нибудь в ногу, и тут же, ошарашенная своим поступком, бросит оружие на землю.

...одна из дверей оказалась открыта, и он очутился во дворике следующего отеля, очень довольный собой и весёлый.

«А ведь тут нет никакой сигнализации, – подумал он. – Можно забраться в любую гостиницу, и жить с любимой девушкой... каждый день меняя комнаты... Зарываться в одеяла, спать, будто зимние звери... По утрам ходить в ближайшее городское кафе и завтракать – как нормальные люди... тихо и сладко смеясь от своего хулиганства... время от времени находя друг у друга на одежде пух с гостиничных подушек, и сквозь зубы прыскать от смеха, сдувая с руки пушинку, и тут же озираясь: не понял ли кто, не заметил ли – улика же».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.